



© 2021. Анастасия Гачева

*Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Москва, Россия*

## **«Восстановление родства»: роман «Подросток» как пролог к диалогу Н.Ф. Федорова и Ф.М. Достоевского**

© 2021. Anastasia G. Gacheva

*A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Science, Moscow, Russia*

## **“Restoring the Kinship”: the Novel *The Adolescent* as a Prologue to the Dialogue Between Nikolay Fedorov and Fyodor Dostoevsky**

**Информация об авторе:** Анастасия Георгиевна Гачева, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25 а, 121069 г. Москва, Россия.

<https://orcid.org/0000-0001-5453-0881>

E-mail: a-gacheva@yandex.ru

**Благодарности:** Исследование выполнено в Институте мировой литературы им. А.М. Горького РАН за счет гранта Российского научного фонда (РНФ, проект № 17-18-01432-П).

**Аннотация:** Статья предлагает опыт прочтения романа «Подросток» в свете проблематики духовно-творческого диалога философа общего дела Н.Ф. Федорова и Ф.М. Достоевского. Несмотря на то, что «Подросток» писался и печатался за три года до того, как ученик Федорова Н.П. Петерсон изложил писателю идеи Федорова в статье «Чем должна быть народная школа?», его можно рассматривать как пролог к теме, ставшей предметом главной работы Н.Ф. Федорова «Вопрос о братстве или родстве, о причинах небратского, неродственного, т.е. немирного, состояния мира, и о средствах к восстановлению родства». Сюжет романа интерпретируется в статье сквозь призму федоровской темы неродственности и восстановления всечеловеческого родства, идеи воз-

вращения сердец сынов к отцам и отцов — к детям. Показано, как проявляется в романе тема «семейства как практического начала любви».

**Ключевые слова:** духовно-творческий диалог Н.Ф. Федорова и Ф.М. Достоевского, проблематика романа «Подросток», родство, неродственность, сыновство, отечество, братство, семейство как горнило родства.

**Для цитирования:** Гачева А.Г. «Восстановление родства»: роман «Подросток» как пролог к диалогу Н.Ф. Федорова и Ф.М. Достоевского // Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. 2021. № 4(16). С. 58–87. <https://doi.org/10.22455/2619-0311-2021-4-58-87>

**Information about the author:** Anastasia G. Gacheva, Dsc in Philology, Leading Research Fellow, A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya 25 a, 121069 Moscow, Russia.

<https://orcid.org/0000-0001-5453-0881>

E-mail: a-gacheva@yandex.ru

**Acknowledgments:** The reported study was carried out at the A.M. Gorky Institute of World Literature RAS and funded by the Russian Sciences Foundation (RSF), project no. 17-18-01432-П.

**Abstract:** The article is an attempt to read the novel *The Adolescent* in the light of the spiritual and creative dialogue between the philosopher of the common task Nikolay Fedorov and Fyodor Dostoevsky. Although *The Adolescent* was written and published three years before Fedorov's student N. Peterson presented his teacher's ideas to the writer in the article "What should a people's school be?", the novel can be considered as a prologue to the topic that eventually became the subject of Fedorov's main work *The question of brotherhood or kinship, about the causes of the non-fraternal, unrelated, i.e. non-peaceful, state of the world, and about the means to restore kinship*. The plot of the novel is interpreted in the article through the prism of Fedorov's themes of non-kinship and the restoration of universal kinship, the idea of returning the hearts of sons to their fathers and the fathers' ones to their children. It is shown how the theme of "family as the practical beginning of love" is expressed in the novel.

**Keywords:** spiritual and creative dialogue between Nikolay Fedorov and Fyodor Dostoevsky, themes of the novel *The Adolescent*, kinship, non-kinship, sonship, fatherland, brotherhood, family as a crucible of kinship.

**For citation:** Gacheva, A.G. "‘Restoring the Kinship’: the Novel *The Adolescent* as a Prologue to the Dialogue Between Nikolay Fedorov and Fyodor Dostoevsky". *Dostoevsky and World Culture. Philological journal*, no. 4 (16), 2021, pp. 58–87. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2619-0311-2021-4-58-87>

В 1875 году, когда в журнале «Отечественные записки» началось печатание романа «Подросток», Н.Ф. Федоров уже год как работал в библиотеке Московского публичного и Румянцевского музеев. В центре его внимания была тема местной истории — в главном московском книгохранилище мыслитель активно собирал матери-

алы по истории Керенского края, которой занимался всю первую половину 1874 года, заложив при Керенской публичной библиотеке хранилище исторических документов, куда собственноручно собранные материалы по родовой и семейной истории передавали не только местные помещики, но даже крестьяне. Как и в прошлые десятилетия, когда философ был учителем истории и географии в уездных училищах Липецка, Богородска, Углича, Боровска и др., его волновала тема школы, в которой он видел не только образовательное, дающее знание о мире, но и «душеобразовательное» дело, служащее, как и церковь, преобразению человечества в родственную, братски-любовную общность, воплощающую завет Спасителя: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Ин. 17:21). В 1875 году его ученик Н.П. Петерсон, который спустя два года отправит Достоевскому изложение идей философа, центрированное вокруг вопроса о том, «Чем должна быть народная школа?», создает при Покровской церкви г. Керенска, где он был старостой, церковно-приходскую школу и стремится устроить ее по мыслям своего учителя, так что тема школы в переписке и личном общении Федорова и Петерсона в это время выдвигается на первый план.

Звучало ли тогда между ними имя Достоевского, мы не знаем. Внимание философа и его ученика занимал в это время В.С. Соловьев, в 1874 году выпустивший магистерский труд «Кризис западной философии (против позитивистов)» и в финале этой работы провозгласивший конец философии как «отвлеченного, исключительно теоретического познания», необходимость нового самоопределения мыслящего разума на путях нового творческого союза с наукой и верой и поставивший вершиной истории воплощение Царствия Божия и «*αλοκαταστασις των παντων*» [Соловьев, 2011, с. 150]. Федоров, у которого тема единства веры и знания, мысли и действия в труде «восстановления мира в то благолепие нетления, каким он был до падения» [Федоров, 1995–2000, т. 1, с. 401], чаяние всеобщности спасения стояли в сердцевине его собственной философской системы, даже намеревался писать Соловьеву, но потом оставил это намерение.

Достоевский и его творчество оказываются в центре внимания Федорова и Петерсона спустя год — в 1876 году, когда начинается издание «Дневника писателя». Петерсон ранней весной отправляет Достоевскому две статьи, в центр которых ставит вопрос о че-

ловеке как существе, в сердце которого таится жажда «общения с своими ближними», выдвигает образ Церкви как совершенного общения в любви, противопоставляя это общение «артелям, ассоциациям, корпорациям, кооперациям, торговым и другим всяким товариществам» [Федоров, 1995–2000, т. 4, с. 503] как примерам псевдоединства, и указывает на необходимость «соединения веры и молитвы с делом», подчеркивая, что именно христианское дело будет способствовать увеличению любви, ибо является деятельным проявлением этой любви [Федоров, 1995–2000, т. 4, с. 506]. История, последовавшая за этим обращением Петерсона, неоднократно становилась предметом исследовательского внимания. Достоевский откликается на письмо Петерсона в главке «Обособление» в апрельском выпуске «Дневника писателя» 1876 года, поддерживая его критику в адрес «ассоциаций», но при этом отмечая у «автора, «хлопочущего об истинном единении людей», «чрезвычайно тоже “обособленный” в своем роде размах» [Достоевский, 1972–1990, т. 22, с. 83]. Петерсон намеревается «отвечать ему» на основе статьи К.С. Аксакова «О современном человеке»<sup>1</sup>, втайне надеясь вовлечь в диалог с Достоевским и Федорова, но это не удастся, и он свое намерение оставляет. Впрочем, летом того же года во Владимире записывает со слов Федорова его размышления об обществе по образу Троицы, о восстановлении сыновне-отеческих связей, о любви сынов к отцам и воскрешении умерших как необходимом условии братства живущих, а спустя полтора года, в декабре 1877 года, посылает Достоевскому составленную на основе записанного статью «Чем должна быть народная школа?». Далее следует знаменитое письмо Достоевского от 24 марта 1878 года, в котором он задает неизвестному мыслителю вопросы, идущие по самому нерву его учения, и просит сообщить «хоть что-нибудь о нем подробнее как о лице» [Достоевский, 1972–1990, т. 30<sub>1</sub>, с. 13], еще одно письмо Петерсона, в котором он сообщает писателю имя Федорова и «нить», по которой тот может быть найден<sup>2</sup>. А затем Федоров на протяжении почти двух лет с перерывами составляет развернутое изложение своих идей для Достоевского, работая над ним и после смерти писателя, а Достоевский продолжает заочный диалог с Федоровым в романе «Братья Карамазовы» [Баршт, 1989; Гачева, 2008; Комарович, 2018; Сараскина, 2006; Семенова, 2016].

<sup>1</sup> Н.П. Петерсон – Н.Ф. Федорову. 26 мая 1876 [Федоров, 1995–2000, т. 4, с. 574].

<sup>2</sup> Н.П. Петерсон – Н.Ф. Федорову. 29 марта 1878 [Федоров, 1995–2000, т. 4, с. 576].

Все вышесказанное, на первый взгляд, не оставляет никакой возможности разговора о романе «Подросток» в контексте духовно-творческого диалога писателя и философа. Однако в культурной истории далеко не всегда присутствует линейное взаимодействие, однонаправленное движение от предыдущего к последующему, от прошлого к будущему. Гораздо чаще ауканья с «соседями по существованию» (выражение Г.Д. Гачева), взаимоперетекания идей, мотивов, сюжетов, «далековатые сближения», «резонантность» текстов и смыслов культуры [Топоров, 1993], «припоминания» [Бочаров, 2007] и т.д. «Культурно-историческая “телепатия”», о которой писал Бахтин применительно к Достоевскому [Бахтин, 2002, с. 323], действует не только по отношению к явлениям давней литературной истории, вроде «угадывания Достоевским менипповой сатиры, Симплициссимуса» [Бахтин, 2002, с. 323], но и по отношению к явлениям, находящимся на шкале времени на одной отметке, откладывающимся на вечное хранение в одном культурном слое.

Роман «Подросток», печатание которого завершилось за несколько месяцев до начала опосредованного достоевско-федоровского сюжета и за три года до его кульминации в 1878 году, — своего рода пролог к этому сюжету, обнажающий его главный нерв, обозначенный в названии того самого текста, который вырос из федоровского ответа Достоевскому: «Вопрос о братстве и родстве, о причинах небратского, неродственного, т.е. немирного, состояния мира и о средствах к восстановлению родства». «Восстановление родства» — это глубинная тема «Подростка», и именно она сближает писателя и мыслителя не только в том хронологическом отрезке, к которому относится посредничество Петерсона, работа над «Братьями Карамазовыми» и ответом Федорова Достоевскому, но и в десятилетия, предшествующие их духовной встрече.

Вопрос о восстановлении всемирного родства — для обоих это вопрос о совершенном типе единства, о соединении человечества и всего бытия по образу и подобию Троицы. Родство — неслиянно-нераздельное единство личностей, уже не внешних, не чужих друг другу, не костенеющих в своей обособленности, но соединенных всеотдайной любовью, это мир, перешедший из состояния розни и разделения, борьбы и «двойной непроницаемости» вещей и существ, вытесняющих друг друга в пространстве и времени, в состояние «всемирной сизигии» [Соловьев, 1988, с. 547], как скажет об этом позднее младший брат и собеседник Федорова и Достоевского,

В.С. Соловьев. «Восстановление родства» — это преодоление ада эгоистической обособленности, «взаимного стеснения и вытеснения» [Федоров, 1995–2000, т. 2, с. 48], душевной глухоты и болезненной самости. «Родство есть мы; для него нет *других* в смысле *чужих*, для него *все — те же Я, свои, родные, естественно, органически* родные, *а не искусственно, механически, внешне сроднившиеся*. Когда все будут чувствовать и сознавать *себя во всех* и таким образом даже *дальние* станут *близкими*, получится *многоединство*» [Федоров, 1995–2000, т. 2, с. 199]. И это всечеловеческое многоединство, созидаемое на земле и в истории, — путь к той полноте всеединства Царствия Божия, «жизни окончательной, синтетической, бесконечной», где «мы будем — лица, не переставая сливаться со всем, не посягая и не женьясь и в различных разрядах», где «все себя тогда почувствует и познает навечно» [Достоевский, 1972–1990, т. 20, с. 174–175].

Вопрос о восстановлении всемирного родства как подлинной нормы мира и человека объединял Федорова и Достоевского и в 1840-е годы, когда в ранних произведениях писателя — «Бедных людях», «Двойнике», «Хозяйке», «Слабом сердце», «Неточке Незвановой» — являлся мир, погруженный в сферу «юридико-экономических отношений», мир департаментов и бумаг, взаимных интриг и подозрений, мир, в котором человек сведен до функции и сам воспринимает себя как букашку, «ветошку гнилую» [Достоевский, 1972–1990, т. 1, 147, 160], начисто забывая о том, что он — образ и подобие Божие, и одновременно мир, взыскующий родства, страдающий от скудости любви, стремящийся пробиться к иной, Божеской норме отношений и связей. Вопрос о неродственности и родстве «мучил» Достоевского и в 1850-е годы, когда писатель проходил свои мытарства на каторге, засвидетельствовав затем в «Записках из мертвого дома» и главке «Мужик Марей» в «Дневнике писателя», что ад острога и мертвой казенщины побеждается только милосердием и любовью, только той силой, которую М.М. Пришвин позднее назовет «родственным вниманием», позволяющим ощутить другого не как внеположного, а как единого с тобой самим, почувствовать его изнутри, как себя, что всечеловеческое родство — не фантазия, стоит только, как в сцене смерти Михайлова, караульному унтер-офицеру и каторжнику Чекунову встретиться глазами друг с другом и последнему произнести, глядя на единоумершего: «Тоже ведь мать была!» [Достоевский, 1972–1990, т. 4, с. 141]. Тоску по всечеловеческому родству, порой скрытую за метафизическим бунтом, несут в себе

достоевские герои, которые рождаются в его мире в 1860-е годы: от «подпольного парадоксалиста» до Ипполита Терентьева, а сам Достоевский в записи от 16 апреля 1864 года, сделанной у гроба Марии Дмитриевны, его первой жены, противопоставляет факту смерти, оборачивающемуся в порядке природы фатальным разрывом связей, разрушением родства, исповедание веры в преодоление смерти, в будущее воскресение «каждого я» — «в общем Синтезе», в обретение всечеловеческой полноты [Достоевский, 1972–1990, т. 20, с. 174]. Ужас неродственности, как раковая опухоль, поражающей межчеловеческие отношения, обрушивающей весь строй жизни уездного города, является в романе «Бесы», но и здесь, как в «Записках из мертвого дома», против деспотической модели Петра Верховенского, против «пятерок», скрепляемых кровью, является спасительная и воскресительная правда родства, против «человеческой, слишком человеческой» морали, разделяющей своих и чужих, кровно родственных и чужеродных, встает этика вселенского родства и братства, когда чужие становятся родными, как младенец, рождающийся у Marie, жены Шатова, которого герой принимает, как свое собственное дитя, или книгоноша Софья Матвеевна, встреченная Степаном Трофимовичем по дороге в Спасов: «Только не оставляйте, не оставляйте меня одного! Мы докажем, мы докажем! — Да не оставлю же я вас, Степан Трофимович, никогда не оставлю-с! — схватила она его руки и сжала в своих, поднося их к сердцу, со слезами на глазах смотря на него» [Достоевский, 1972–1990, т. 10, с. 498].

Роман «Подросток» — одна из кульминационных точек развития у Достоевского темы родства и неродственности. И если сравнить художественное высказывание писателя с тем, как будет развивать эту тему Федоров уже не на сократовски-устном этапе изложения своих идей, когда они больше десятилетия, с 1864 по 1877 год, проговаривались в беседах с Н.П. Петерсоном, а на этапе письменной их фиксации, то окажется, что многие линии развития этой темы предугаданы в романе «Подросток».

В статье «“Научите меня любви”. К вопросу о Н.Ф. Федорове и Ф.М. Достоевский» К.А. Баршт, на мой взгляд, весьма точно пояснил природу этого «угадывания», удивительного параллелизма в развитии этических, антропологических, историософских сюжетов у писателя и философа: «То, о чем писал Федоров, было жизнью Достоевского, человека и мыслителя; то, что писал Достоевский, — было практическим переводом “этико-эстетических отношений

с действительностью” на язык искусства. <...> “Проекты” Федорова осуществлялись в “пробах” Достоевского. Вот связь, которая объединила их в контексте одной эпохи — не менее важная, чем личное знакомство» [Баршт, 1989, с. 160–161].

Тема неродственности вводится в роман «Подросток» через рассказ главного героя о своей судьбе. Аркадий — незаконнорожденный. Как сам он говорит о себе: «<...> просто Долгорукий, незаконный сын моего бывшего барина, господина Версилова» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 8]. Что такое незаконнорожденность не с точки зрения социальных прав, точнее социального бесправия, а с родственно-нравственной точки зрения, с какой и смотрел на нее Федоров, сам незаконнорожденный сын князя Павла Ивановича Гагарина, не унаследовавший ни дворянского звания, ни родового имени, ни даже отчества, которое дали ему по имени его крестного отца, Федора Карловича Белявского [Семенова, 2019, с. 16]? Это не просто непризнание прав гражданского состояния, это непризнание родства, отторжение от отца, от родового корня, от семейного очага, отлучение от любви. «Юридико-экономические отношения», редуцирующие и оплошающие человека, втискивающие его в прокрустово ложе земных законов, рождающие «сословность» и рознь, вторгаются здесь в ту сферу, которая для Федорова не просто выше всего юридико-экономического, но свидетельствует о божественном происхождении человека, о том, что он — существо не только природное, но созданное по образу и подобию Божию. Человеческое родство, строящееся на любви, на отрицании всего внешнего, всего «гражданского», есть проявление на земле образа Троицы, единства Божественных Лиц, «верность» которых Друг Другу и «взаимная любовь» безграничны [Федоров, 1995–2000, т. 1, с. 90]. Родство не может ограничиваться и искажаться в угоду стратифицированному, распавшемуся на сословия обществу, ибо оно есть росток подлинного общества-Церкви. Всякое ограничение родства есть проявление греха неродственности. Социальное вето, налагаемое в случае незаконнорожденности, на отношения родства, отчества и сыновства, — одна из ипостасей неродственности.

Ограничение отношений родства проявляется в случае с незаконнорожденными детьми непризнанием не только сословных и имущественных прав, но и фамилии, соединяющей ребенка с родовой цепью поколений, отчества, манифестирующего неразрывность родовой связи с отцом, невозможностью законно называть отца



отцом, а не только этикетным именем-отчеством, а в случае родовитого дворянства еще и с прибавкой «князь», «граф» и др. Именно так, Андреем Петровичем, но не родственно-сердечным «отец», должен именоваться Аркадий Версилова. Именно так, князем Павлом Ивановичем, должны были именоваться своего отца Федоров, его брат Александр и сестры Елизавета и Юлия, рожденные в невенчанном браке Гагарина с «дворянской девицей Елизаветой Ивановой» [Семенова, 2019, с. 15]; так же, по имени-отчеству с прибавкой «князь», именовали они и братьев отца, князей Д.И. и А.И. Гагариных и даже Константина Ивановича Гагарина, который пекся о детях брата, как о родных и которого они искренне и сердечно любили, и никогда в их письмах не звучали по отношению к князьям Гагариным «термины родства» — «тятя», «дядя».

Тушар, владелец пансиона для дворянских детей, в которых поместили Аркадия, с гордым достоинством пишет Версилону, «что в заведении его воспитываются князья и сенаторские дети и что он считает ниже своего заведения держать воспитанника с таким происхождением <...>, если ему не дадут прибавки», а когда Версильов отказывается, дает себе полную волю унижать и бить мальчика, заявляя ему: «Ты не смеешь сидеть с благородными детьми, ты подлого происхождения, все равно, что лакей!» и «употреблять его иногда как прислугу» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 97]. Для Тушара, воспитанного в ценностях сословного общества, это в порядке вещей. Но то, что нормально для общества *граждан*, а не сынов, блюдущего границы сословий и ревниво наблюдающего за «приличиями», совершенно непонятно и дико для детской души, сталкивающейся с проявлениями «небратского состояния» мира. Крик, битье и жестокость Тушара наталкиваются на *парадоксальную*, почти *юродивую* реакцию мальчика: он *не оскорбляется*, как сделал бы всякий подросток и взрослый, страдающий естественным самолюбием, он искренне считает *себя* виноватым, думая, что «что-то сшалил», и надеется, что, когда он исправится, его простят — и все станет по-прежнему: «мы опять станем вдруг все веселы, пойдем играть во дворе и проживем как нельзя лучше». Когда же Тушар приказывает «подавать себе платье», Аркадий несколько не обижается и старается «изо всех сил угодить» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 97, 98].

Сам подросток, рассказывая об этом родным, характеризует свое поведение как *лакейство* и *глупость*. Но эта оценка дана в оптике все того же неродственного и небратского состояния мира. В иной же,

евангельской, оптике поведение Аркадия-ребенка хриstopодобно, а отношение к смеющимся над ним сверстникам и обидчику Тушару заставляет вспомнить слова Христа о детях, которым принадлежит Царствие Божие (Мф. 18: 2–4). Комментируя новозаветное «Будьте как дети», Федоров видит в нем критерий нравственного мироотношения и действия: «Вся нравственность первых трех Евангелий заключается в том, чтобы обратиться в дитя, родиться сыном человеческим, совершенно не ведающим земных отличий и, напротив, глубоко сознающим внутреннее родство, желающим служить, а не господствовать. Ребенок, свободный от борьбы за существование, не вынуждаемый еще употреблять свои силы на приобретение средств жизни, может бескорыстно расходовать их на услуги всем, не признавая в этих услугах рабства или чего-либо унижительного, как не видел унижения и сам Христос, оmyвая ноги ученикам, спорящим о первенстве. <...> Дитя как критерий есть отрицание неродственности, рангов, чинов, всего юридического и экономического и утверждение всеобщей родственности, и притом не на словах или в мысли только, а на деле (бескорыстная услужливость)» [Федоров, 1995–2000, т. 1, с. 81].

Этот образ ребенка как воплощенной родственности и открытости миру является в рассказе Аркадия о раннем детстве в имении, где он жил у тетушки Версилова, т.е. у своей двоюродной бабушки Варвары Степановны, куда приезжала к нему мать и носила его к причастию в местную церковь, где были «огромные деревья» у дома, и солнце «в отворенных окнах», и «палисадник с цветами», и голубь, пролетевший в церкви сквозь купол «из окна в окно» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 92]. Та же теплота детских воспоминаний — в рассказе о семействе Андронниковых, у которых он жил в Москве. Достоевский одним говорящим штрихом передает родственное внимание, открытость и теплоту во взаимоотношениях Аркадия-ребенка и Андронникова: в отличие от чванлившейся супруги, Андронников сам разливал суп домашним и в его кабинет мальчик запросто входил каждый день без всяческих церемоний и предупреждений, неважно, «занят он был или нет», декламируя басни Крылова [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 92].

Но вот мальчик, испытавший восторг встречи с отцом, переполненный ощущениями от грибоедовской пьесы, в которой Версилов играл Чацкого, страстно желающий снова увидеть отца, оказывается в пансионе Тушара. Из рая детства, из пространства родства он вы-

брошен в неродственный мир, обретая то горькое знание, которое в свое время открылось в детстве и Федорову: «что есть и не родные, и чужие» [Федоров, 1995–2000, т. 4, с. 161]. И именно это дьявольское, ядовитое знание переключает Аркадия с райского восприятия мира как прекрасного, теплого и родного, а человечества — как единой семьи, где нет чужих, все — родные, на оптику «гражданственности, цивилизации», отрекающейся от родства, утрачивающей дар любви и подлинное разумение вещей, ибо «основное свойство родственности есть любовь, а с нею и истинное знание» [Федоров, 1995–2000, т. 1, с. 81], не позволяющее воспринимать неродственность как норму, побуждающее искать «средства к восстановлению родства».

Детское сознание родства со всем миром, источное доверие к людям сменяется ненавистью, подозрительностью и тем самым *лакейским* сознанием, которое существует в логике господства и подчинения, раба и господина, исключает всякую возможность любви и является еще одной ипостасью неродственности. В состоянии душевной ослепленности и глухоты Аркадий, принявший за правду логику сословного, разделенного мира, стыдится матери, пришедшей к нему в пансион. И не только стыдится, но и находит постыдное удовольствие в том, чтобы принизить ту, которая дала ему жизнь. Еще недавно так тосковавший по родству, он не испытывает к ней «ни малейшего доброго чувства» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 271]. Поначалу не обижавшийся на тычки и насмешки, начинает копить обиды, глухо ненавидеть товарищей и Тушара. Дитя, воспринявшее разумение добра и зла, каким является оно в «небратском, неродственном, т.е. немирном, состоянии мира», где добро есть «истинное себялюбие», а зло — то, что ущемляет интересы гордынного, эгоистически свернутого на себе «я», превращается в подростка, обиженного на весь мир, и прежде всего на отца и мать, копящего претензии к ближним и ищущего возможности «доказать» и «показать». Соглашаясь с логикой юридико-экономического, разделенного мира, где добро есть имение миллиона, а значит власти, а зло означает постыдную бедность и необходимость подлаживаться и угождать, юноша рождает идею Ротшильда.

Если прочитывать ротшильдовскую идею подростка в оптике Федорова, то она есть предельное выражение «торгово-промышленного» уклада общества, извлекающего выгоду из межчеловеческой розни, делающего ставку на низшее, а не высшее начало в человеке.

«Всякое общество теряет подобие Триединому, вносит в себя мрак (невежество) и смерть, если вещь в этом обществе предпочитается взаимности. Раздор, вносимый вещью, отчуждает людей друг от друга» [Федоров, 1995–2000, т. 1, с. 113]. Идея Ротшильда — апофеоз атомарности. Подросток лелеет идею «уединения», мечтает об одинокой «пустыне», где гордая, сознавшая свое могущество личность обретет наконец «свободу». То, что эта «свобода» фантомна, он в своей ослепленности не замечает.

Герой, так болезненно переживавший свою оторванность от родных: «Я был как выброшенный и чуть не с самого рождения помещен в чужих людях», приехав в Петербург и обретя наконец возможность воссоединиться и с отцом, и с матерью, и с сестрой, начинает с того, что решительно пытается оборвать все связи родства: «Я <...> порешил отказаться от них всех и уйти в свою идею уже окончательно» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 14]. В детстве страстно мечтавший об отце: «<...> что вы вдруг войдете, я к вам брошусь и вы меня выведете из этого места и увезете к себе, в тот кабинет, и опять мы поедem в театр, ну и прочее. Главное, то мы не расстанемся — вот в чем было главное!» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 98], Аркадий, когда отец сам призывает его к себе, когда разлука закончилась и разделенные на долгие годы теперь снова вместе, решается, как ему кажется, на трезвый и взрослый выбор: порвать и с отцом, и с матерью, и со всей неуместной родственностью, что стреножит его на пути к «цели». Детская мечта о всеобщем родстве окончательно объявлена глупостью, а ротшильдовская идея, требующая уединения и разрыва родственных связей, — высшей разумностью.

«Выделяя себя от всех других, мы в самих себе производим разрыв — наше “Я”, как сын или брат, восстает против своего же “Я”, против самого себя, как отрекшегося от братства и отечества» [Федоров, 1995–2000, т. 1, с. 141] — так Федоров в ответе Достоевскому комментирует ситуацию подростка. «Восстание “Я” против “Я” началось вместе с восстанием сына на отца, брата на брата» [Федоров, 1995–2000, т. 1, с. 141]. Подросток не понимает, что, стремясь рвать связи родства, он совершает разрыв в собственной личности, что, восставая на отца, восстает на себя. Биологически и психологически, физически и метафизически человек един с теми, кто вынесли его к бытию, и разрыв с ними — подобен японскому харакири. Недаром в первую встречу «в светелке, под крышей» с нарочитой злобой

обидев отца, демонстративно назвав его «Версиловым», бросив ему в лицо все возможные сплетни, собранные о нем, и наконец почти выгнав его из комнаты, он признается: «Не могу выразить, как жаль у меня сердце, когда я остался один: точно я отрезал живьем собственный кусок мяса!» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 111].

Спустя несколько лет, в подготовительных материалах к «Дневнику писателя» 1881 года Достоевский, переключаясь с точкой зрения Федорова, представит человечество в совокупности поколений как единую родственную общность: «Да и с детьми, и с потомками, и с предками, и со всем человечеством человек единый целокупный организм» [Достоевский, 1972–1990, т. 27, с. 46]. Тот же взгляд у него и в «Подростке». Параллельно неродственности и розни, гордынному уединению и обособлению, окончательно превращающему землю в ад, выстраивается в этом романе иной — спасительный вектор — восстановления родства, осуществления уже не в детской мечте, а на деле того братски-любовного единства всех «я», к которому сам Достоевский устремлялся не менее страстно, чем его юный герой.

Неродственность — всегда суд и обособление. «Я <...> приехал судить этого человека» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 18], — заявляет Аркадий. Та же судящая, *право имеющая* интонация возникает и в его рассказе о детском хождении души по мытарствам. Искренние, открытые признания в том, как ждал он ребенком встречи с отцом, сменяются прямыми упреками: «Тем и кончилось, что свезли меня в пансион, к Тушару, в вас влюбленного и невинного, Андрей Петрович <...>» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 96], а под конец после эпизода с несостоявшимся побегом в монологе героя прорываются уже не только оскорбленные, но и мстительные, злые нотки, бьющие, впрочем, не столько по отцу, сколько по матери, о чем потом прямо скажет ему Версиков: «<...> все твои выходки внизу, вместо того, чтобы падать на меня, как и предназначались тобою, тиранили и терзали одну ее» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 103]. Раненный неродственностью, подросток сам начинает эту неродственность сеять. И недаром так горячо взметывается Татьяна Павловна на его демонстративное, метящее в отца заявление: «Вот с самой этой минуты, когда я сознал, что я, сверх того, что лакей, вдобавок еще и трус, и началось настоящее, правильное мое развитие!» — «Да ты, мало того, что тогда был лакеем, ты и теперь лакей, лакейская душа у тебя! <...> Нет, ты не ценишь, что он тебя до университета довел и что чрез него ты права получил. Мальчишки, вишь, его

дразнили, так он поклялся отомстить человечеству...» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 99]. Лакейская душа самолюбива и себялюбива. Она пресмыкается, но она же безжалостно судит. Она неспособна ни полюбить, ни простить.

Между тем путь к восстановлению родства пролегает именно через прощение. Через преодоление прошлых обид, через отказ от самолюбивых претензий, через соединение детской веры во всеобщность родства со стремлением реально достичь этой всеобщности. Брошенная с показной небрежностью в ответ на рассказ подростка о перенесенных им унижениях в пансионе Тушара фраза Версилова: «Впрочем, я все еще не теряю надежды, что ты как-нибудь соберешься с силами и все это наконец простишь и мы все заживем как нельзя лучше» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 98] — открывает возможность не разрубить гордые узел, а его развязать. И то, что в начале романа кажется невозможностью, осуществляется в его финале.

Эта романная метанойя не сваливается на головы читателей как *deus ex machine*. Она мотивирована развитием почти детективного сюжета «Подростка», в подкладке которого — все та же диалектика родства и неродственности, начиная с моральной дилеммы, стоящей перед Аркадием: что делать с разоблачительным письмом, переданным ему Крафтом, и заканчивая взаимоотношениями героя с единокровной сестрой — Анной Андреевной Версиловой или историей с младшим князем Сокольским. Сложная, многослойная интрига романа, в которой участвуют члены когда-то связанных узами дружбы или родных по крови семейств, развивается по законам «небратского, неродственного, т. е. немирного, состояния мира», где каждая личность блюдет собственный, частный интерес, где сталкиваются человеческие страсти, идет борьба самолюбий и себялюбий. Но в ее предсказуемый в логике «небратского состояния» ход вторгаются непросчитываемые, алогичные, направленные против своей *выгоды* поступки героев, вроде отказа Версилова от наследства или отказа Аркадия манипулировать разоблачительным документом. Нелепое благородство, с точки зрения сословного, настроенного на прагматику мира, свидетельствует о возможности другого выбора и другого типа взаимоотношений людей.

По мере общения Аркадия с Версиловым, матерью и сестрой, которым он гласно демонстрирует свои претензии, становится очевидно, что громко кричащий о своей независимости, непрерывно

фыркающий на ближних, решительно намеревающийся «порвать со всеми радикально, но если надо, то со всем даже миром» герой [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 15] страстно ищет понимания и любви, жаждет воссоединения, братства, родства. Периодически прорывается в нем наивное и нелепое, с точки зрения прагматики мира сего, желание «прыгнуть на шею, чтоб признали меня за хорошего и начали меня обнимать или вроде того» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 47]. В его общении с участниками интриги вокруг наследства, будь то Анна Андреевна или госпожа Ахмакова, проявляется детская вера в их прямоту, в открытость сердца, в подлинность чувств. Он не замечает подводных течений, глухих противоречий, розни, соперничества. Но принимая желаемое за действительное, имитацию родственных чувств за родство, демонстрирует участникам интриги *иную* евангельскую норму взаимоотношений. Проявляя детскость, напоминает о Христовой заповеди: «Будьте как дети», пробуждая, пусть на миг, в героях и героинях, погруженных в борьбу друг с другом и отстаивающих каждый — свое собственное *личное* благо, *стыд* и такой же детский порыв ко всеобщему счастью. Недаром же краснеет и смущается ведущая *свою* интригу Анна Андреевна на горячую тираду Аркадия, благодарящего ее за проявление *сестринских*, родственных чувств по отношению к нему и сестре Лизе, а Катерина Николаевна в интимной беседе с подростком, имеющей, впрочем, свою тайную цель, признается: «<...> я тоже хотела бы, как и он, чтоб все были хороши...» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 368].

В отличие от подростка, прямотушного, не умеющего лукавить, кидающегося из крайности в крайность именно потому, что сердце его жаждет полноты родства и не может делить людей на своих и чужих, участники интриги — от Анны Андреевны до Ахмаковой и вторгшегося в последнем акте драмы Ламберта, умело манипулируют подростком, его искренностью, открытостью, стремлением к восстановлению родственных связей, подменяя *евангельское* понимание родства как основанного на Христовой любви тем ограниченным *природным* родством, которое делит единое человечество на замкнутые кланы, на *своих* и *чужих*, забывая о том, что все они, и свои, и «чужие», происходят от единого корня Адамова. «В последний раз обращаюсь к вам, Андрей Макарович, — хотите ли вы обнаружить адскую интригу против беззащитного старика и пожертвовать “безумными и детскими любовными мечтами вашими”, чтобы спасти *родную* вашу сестру?» [Достоевский, 1972–1990, т. 13,

с. 432], — патетически восклицает Анна Андреевна. Но ее стремление перетянуть Аркадия на свою сторону наталкивается на упрямое идеалистическое (а на деле — из рода *высшего реализма*) стремление героя примирить всех участников дела: «Я всех примирю, и все будут счастливы! — воскликнул я почти в вдохновении» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 432]. Здесь подросток на одной волне со старым князем Сокольским, для которого в полном смысле слова *убийственно* знание о том, что родная дочь Катерина Николаевна хотела упрятать его в дом сумасшедших и, который, несмотря на все доказательства хочет «видеть Катю и благословить ее!», а еще пуше мечтает, чтобы и Катя, и Анна Андреевна примирились друг с другом и он радостно и любовно повез их домой [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 431, 432].

Если подлинная родственность исключает всякую имитацию, ибо строится на любви, на отношении бескорыстной самоотдачи, при отсутствии всякой эгоистической заинтересованности в другом, то имитация родственности, напротив, маскирует стремление к эгоистическому использованию, прячется за «благородными» декларациями, громогласными, но пустыми, непрочными, как дом, воздвигаемый на песке. Оттого-то с таким гневным отвращением отвергает молодая девушка Оля помощь Версилова, что подозревает в ней *имитацию, обман* под видом благородного бескорыстия.

Впрочем, в данном случае героиня слепа. Слепота эта обусловлена не только предшествующей подлостью, испытанной от купца и сутенерши, но и подростковым самолюбием, голосом самостного, оскорбленного «я», которое считает братски протянутую руку помощи унижением и гордо блюдет свои границы: «Вы негодяй, милостивый государь! Если б вы даже были и с честными намерениями, то я не хочу вашей милостыни» [Достоевский, 1972–1995, т. 13, с. 131]. Голос оскорбленной самости застит даже любовь к матери, пытающейся убедить дочь в чистоте намерений Версилова: «<...> прямо видно, что пришел человек от чистого сердца» [Достоевский, 1972–1995, т. 13, с. 145]. *Недоверие* здесь выступает и как следствие неродственности, и как причина ее. А самостная выходка-рисовка Аркадия, заявляющего о Версилове как о человеке, у которого «бездна незаконнорожденных детей» [Достоевский, 1972–1995, т. 13, с. 131], подливает масла в огонь.

Кстати, слепота героини, смешавшей в одно искреннюю помощь Версилова с манипуляторно-циничным посулом купца, отчасти



рифмуется со слепотой подростка, не различающего в своем идеалистическом восторге и стремлении всех примирить лица и изнанки поступков окружающих его людей. Но подросток к финалу романа, а затем по ходу записывания всей истории, переходит от восторженного, но слепого идеализма, к зрячему реализму, обретая в то же самое время способность не осуждать, но понимать, разделять личность, способную, как и сам герой, к опаматованию, преодолению самости, внутреннему росту, и поступки, совершенные ею в момент эгоистической одержимости. Перерождая себя процессом записывания, он обретает то подлинное знание и ту мудрость, которую завещает Христос ученикам, соединяя ее с голубиной, детской чистотой сердца: «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф. 10:16).

Разница между имитацией родства и родством и высшая правда последнего становятся особенно очевидными при обращении к линии: старый князь Сокольский — Аркадий. В отношении старика князя к его юному собеседнику действует родственная, высшая логика, строящаяся на субъект-субъектном, а не объект-объектном отношении между людьми. Князь не просто привязывается к юноше, но начинает искренне любить его: «<...> милый друг, ты мне теперь как родной; ты мне в этот месяц стал кусок моего собственного сердца!»; «<...> с тобой я почти как с родным — и не сыном, а братом <...>» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 29, 30]. Примечательно, что вопреки этикетной норме князь Сокольский говорит Аркадию «ты», как бы подчеркивая полноту субъектности своих отношений с ним, их не юридико-экономический, но братский характер. И он же единственный из окружающих, кроме самого Аркадия, называет Версилова его «отцом». «Ну что отец?» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 30], — спрашивает он героя, будучи абсолютно убежден, что с юным сыном последнего у него действительно братская дружба. И именно поэтому совершенно теряется, когда Аркадий спрашивает о жалованье. С устоявшейся прагматической точки зрения в этом вопросе нет ничего предосудительного. Но в логике родства плата за родственное внимание — невозможное и даже греховное требование.

Говоря Аркадию «ты» и, вопреки светским приличиям, не позволяющим признавать за незаконнорожденными детьми родовые права, называя Версилова отцом юноши, князь Сокольский рушит *сословную* логику, противоречащую евангельскому принципу родства, основой которого является единство Сына с Отцом и которому должны уподобляться *все люди*, вне зависимости от их происхож-

дения и места в общественной иерархии. Так же рушит сословную логику и Макар Иванович Долгорукий, оберегающий вверенную ему на хранение Софью и ведущий себя с твердым достоинством и тогда, когда он, бесправный крепостной, принимает решение отпустить супругу, полюбившую без памяти молодого Версилова, и тогда, когда, странствуя по Руси, приходит на побывку и останавливается на квартире у Софьи, поражая «русского европейца», поступившего в мировые посредники и изо всех сил изучавшего тогда Россию, не только умом, «благодушием, ровностью характера» и «чуть не веселостью», но и той «скромной почтительностью», «которая необходима для высшего равенства» и без которой «не достигнешь и первенства» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 108], и наконец, тогда, когда приходит в семейство Версильовых последний раз и своей любовью, мудростью, родственным вниманием, способностью просить прощения и прощать собирает в одно его членов, открывая им возможность стать «малой Церковью» и сам к ним природняясь, воплощая сокровенную мысль Достоевского о «расширяющемся» семействе, из которого в перспективе истории, встающей на Божьи пути, вырастает организм всечеловеческого и всемирного братства.

Родственность утверждается здесь вопреки нормам разделенного человечества, устанавливающего строгую иерархию, блюдущего границы сословий, вводящего табели о рангах и проч. С точки зрения *света*, вся семейная история Версильова — это скандал, вопиющий скандал. Но именно через нее открывается в романе «Подросток» подлинная, евангельская норма отношений. И если в стратифицированном обществе незаконнорожденные Аркадий и Лиза лишены всяких прав на родство с Версильовым, то в теплом лоне этой *странной и незаконной*, с точки зрения гражданских установлений, семьи они получают возможность обрести это родство во всей полноте, ибо критерием родства является не сословная законность, а разворачивающаяся поверх всяких барьеров любовь.

Одно из самых болезненных и ранящих воспоминаний Аркадия связано с тем, как перед отъездом в Петербург он пришел в квартиру князя В-ского, где «камер-юнкер Версильов, сын Андрея Петровича», должен был передать ему деньги для переезда. «Сомнений не было, что Версильов хотел свести меня с своим сыном, моим братом<...>» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 398], — так воспринимает это Аркадий. Но тут же к этим высшим, идущим поверх социальных барьеров стремлениям примешивается сословный соблазн: Аркадий начинает

воспринимать свой визит не только как утверждение правды родства, но и как свидетельство законности своего положения, равенства не только в братстве, но и в сословности. Потому и в передней дворянского дома он ожидает стоя, зная, что ему, «как “такому же барину”, неприлично и невозможно сесть в передней, где были лакеи», потому и надмеается над лакеями, якобы стоящими неизмеримо ниже его по положению в обществе, и, когда камер-юнкер к нему не спускается, как власть имеющий, *велит* лакею «“тотчас же” пойти доложить еще раз» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 399]. Следующая за тем оскорбительная, бьющая по самолюбию Аркадия сцена, когда «красивый и надменный молодой человек» выходит из зала, с насмешкой оглядывает его и удаляется, а затем лакей, передав ему деньги, «усиленно» распахивает перед ним дверь и «важно, с ударением» произносит: «Пожалуйста-с!» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 400], демонстрирует лишь закон бумеранга: герой, ослепленный сословной гордыней, не хочет видеть брата в «лакее», и пока он этому не научится, ему не обрести братства и не выйти к родству.

Если сословное общество есть школа неродственности, то семейство, понятое «как практическое начало любви» [Достоевский, 1972–1990, т. 15, с. 249], есть горнило восстановления всечеловеческого родства. Софья Долгорукая, София романа, говорит ерепяющему сыну: «Ты, Аркаша, на нас не сердись; умные-то люди и без нас с тобой будут, а вот кто тебя любить-то станет, коли нас друг у дружки не будет?» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 212]. Семья, где любовь — единственный верховный закон, есть воплощенная родственность, средоточие новой соборной общности, где каждый человек, который для огромного мира только *quantité négligeable*, мал, незаметен, ничтожен, — дорог, единствен, незаменим.

Именно любовь, обращенная на родных, переставших быть дальними, и на чужих, ставших родными, рушит ротшильдовскую идею подростка. Приехав в Петербург и увидев, в каком бедственном положении находится семейство Версилова, Аркадий тут же отдает матери деньги, скопленные во имя идеи. И хотя поначалу, движимый обидой и обособлением, он «порвал цепь» родства [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 100], но затем, по ходу романа, постепенно усваивает заповедь старца Зосимы, которая прозвучит спустя три года в набросках к «Братьям Карамазовым», художественно же выражена уже в «Подростке»: «Бог дал родных, чтоб учиться на них *любви*» [Достоевский, 1972–1990, т. 15, с. 205].

Записывая свою историю, подросток признается с сокрушением сердца, как часто прикрывал он верой в идею подлый эгоизм и бездействие: «Сколько я мучил мою мать за это время, как позорно я оставлял сестру: “Э, у меня “идея”, а то все мелочи”<...>» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 79]. Подобным образом вел себя в молодости и Версилов, носившийся сначала — с монашеством, затем — со «всепримирением идей» и в этом умственном поиске и жажде пророчествовать забывавший о своей Соне. Иначе поступают женские персонажи романа. Мужчины — сталкиваются, соперничают, умствуют, спорят друг с другом. Женщины версиловского семейства — Софья Долгорукая, Лиза — сшивают разорванную мужчинами ткань родства. Главный принцип их существования — не идея впереди жизни, а любовь рука об руку с жизнью. Они — умиротворительницы, и в этом смысле хриstopодобны, не позволяя плевелам розни проникать в сердца ближних: «Брат, ради Бога, пощади маму, будь терпелив с Андреем Петровичем...» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 85]. И когда герои романа идут за их мудростью, избирая образом своего действия соединяющий и утишающий рознь принцип любви, они своими микроусилиями поворачивают мир от самости к святости.

Тема «восстановления родства» неразрывно связана у Достоевского с другой, не менее важной темой — «отцов и детей». Уже первый номер «Дневника писателя» 1876 года он начинает с признания в том, что давно присматривается к этой теме, планирует «написать роман о русских теперешних детях, ну и конечно о теперешних их отцах, в теперешнем взаимном их отношении», и прямо упоминает «Подростка», называя его «первой пробой» своей мысли. И хотя писатель далее оговаривается, уточняя, что «Подросток», может быть, и не совсем исполнение замысла, ибо «тут дитя уже вышло из детства и появилось лишь неготовым человеком, робко и дерзко желающим поскорее ступить свой первый шаг в жизни» [Достоевский, 1972–1990, т. 22, с. 7–8], этот роман — даже в большей степени роман об «отцах и детях», чем «Братья Карамазовы», и далеко не только в ракурсе темы «случайного семейства», где вина за случайность возлагается Достоевским прежде всего на отцов, которые, сами будучи шаткими, неустойчивыми в разумении добра и зла, не имеющими «общей, связующей общество и семейство идеи», не сумели передать свои детям ни потребности в идеале, ни «веры в жизнь» [Достоевский, 1972–1990, т. 25, с. 178], но в духе последних

строк книги пророка Малахии, завершающих ветхозаветный канон и перебрасывающих смысловой мост к книгам Нового Завета: «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием» (Мал. 4: 5–6).

В словах пророка Малахии — два плана: реальный и проективный. От наличного состояния мира, где правит бал отчуждение и рознь поколений, взаимная глухота сердец, утрата родства, намечается переход к иному состоянию мира и иному типу взаимодействия личностей, основанному на любви, на восстановлении сыновне-отеческих связей, на взаимном обращении сердец друг к другу. Этот переход требует усилия, и не внешнего, каким бы мощным подобное усилие ни казалось, но внутреннего, основанного на любви. Именно так истолковал слово пророка Малахии Н.Ф. Федоров. В книге Малахии он увидел не просто пророчество, но заповедь роду людскому, подобную заповедям Христа о взаимной любви и совершенстве: «Заповедь новую даю Вам: да любите друг друга» (Ин. 13: 34) и «Будьте совершенны, как совершен Отец Ваш небесный» (Мф. 5: 48). Более того, фактически связал эти заповеди, поставив первую, о любви, необходимым условием осуществления второй — совершенства.

«Возвратить сердца сынов к отцам» [Федоров, 1995–2000, т. 3, с. 246] и отцов к детям, протянуть между поколениями нити взаимного доверия и любви — значит, по мысли Федорова, открыть путь к восстановлению всечеловеческого родства. Родство, считал мыслитель, восстанавливается не внешне, но внутренне, не моральными нормами или державным законодательством, предписывающим родителям растить и воспитывать своих детей, а детям — заботиться о престарелых родителях, но сердечным усилием, подвигом любви, не смиряющейся с естественным угасанием «тех, которые нам дали — вернее — отдали свою жизнь» [Федоров, 1995–2000, т. 2, с. 202]. Его воскресительный проект — утверждение полноты родства и сыновства: именно в возвращении жизни умершим родителям видел мыслитель высшее выражение сыновне-дочерней любви.

Воскресительный пласт мысли Федорова не мог отразиться в романе. Но тема восстановления родства между отцом и сыном, возвращения сердца отца сыну и сердца сына — отцу стала в «Подростке» центральной.

Пока мы находимся на первых страницах текста, восстановление родственных связей и чувств между Аркадием и Версильевым кажется глубоко утопичной затеей. Герой «Подростка» начинает свою записки с безжалостного суда над отцом и матерью. Причем направляется этот суд на то, что в человечестве испокон веков табуировано — на интимные отношения родителей. И сам Федоров, и его младший современник В.С. Соловьев назовут «стыд», особенно «стыд рождения», основой человеческой этики. Стыд рождения предстает здесь как стыд животной природы в себе. Этот оттенок смысла присутствует и в записках Аркадия. Подросток с острым волнением пытается докопаться до истины, понять «с чего именно началось у него с моей матерью», но при этом немедленно оговаривается: «Сам я ненавидел и ненавижу все эти мерзости всю мою жизнь. Конечно, тут вовсе не одно только бесстыжее любопытство с моей стороны» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 10].

Аркадий и судит отца, и боится, что его осуждающие слова («глупый молодой щенок», искатель «развлечения») окажутся правдой. Оттого настойчиво и пристает к нему с вопросами, почему тот так прикипел на всю жизнь к его матери, и цепляется за объяснения Версильева о любви как кенотической жалости и о Софье как «особе из незащищенных, которую не то что полюбишь, — напротив, вовсе нет, — а как-то вдруг почему-то *пожалеешь*, за кротость, что ли, впрочем, за что?» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 11]. Слова «незащищенных» и «пожалеешь» выделены в тексте говорящим курсивом, а слово «кротость» интертекстуально рифмуется с прозвучавшими в свое время из уст Раскольникова словами о Сонечке Мармеладовой, которая природняется в восприятии Родиона Романовича самому дорогому для него человеку — его матери. Аркадию очень страшно увидеть за отношениями отца и матери похоть и очень хочется увидеть иное — то, что передается великим и вечным словом «любовь», но Аркадий это слово произнести пока не готов, потому что в нем самом любовь еще очень несовершенна.

Федоров не раз писал о том, что отношения людей с их земными отцами есть одновременно и их отношения с Богом, Который есть «Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова» (Исх. 3: 15). Для философа любовь к отцам и Богу отцов — это подлинная, преображающая, спасающая мир и человека любовь, ибо она есть воплощение на земле принципа Троицы. Неслиянно-нераздельное единство Отца, Сына и Духа — прообраз единства «сынов и доче-

рей человеческих», уподобляющихся в своей любви к родителям Сыну и Духу, «безграничную любовь к отцу питающим» [Федоров, 1995–2000, т. 1, с. 95].

В детстве благоговевший перед отцом, Аркадий, и став подростком, несмотря на претензии по отношению к Версилову, подчас доходившие до прямой грубости, хочет, чтобы тот по-прежнему оставался для него в ореоле восхищения и бесхитростной детской любви. И потому, заявляя: «Я приехал судить этого человека», он тут же признается, что всем сердцем желает, чтобы слухи о Версилове оказались неправдой: «Сделаю наконец полное признание: этот человек был мне дорог!» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 18].

Стремление видеть в отце идеал противостоит самолюбивому обособлению. Подросток, во время своего московского «уединения» тщательно собиравший *компромат* на Версилова, приехав в Петербург, настойчиво стремится этот компромат опровергнуть, хотя, подзадориваемый не сдающей самостью, и выпускает время от времени в сторону Версилова всевозможные разоблачающие свидетельства. Именно потому с такой горячностью и таким сердечным восторгом реагирует на всякий новый факт, представляющий лицо отца в благородном, рыцарском свете. «Каков человек! Каков человек! Кто бы это сделал?» — восклицает он «в упоении», узнав о том, что Версиров отказался «от выигранного им наследства» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 151]. А когда, общаясь с Версировым, узнает его полнее и глубже, переходит от поспешной, восторженной, но нестойкой «влюбленности», легко сменяющейся возмущением и отторжением, стоит только возведенному в идеал и поставленному на пьедестал предмету обожания повести себя как-то не так, к внимательной, понимающей, милосердной любви. Именно такая зрячая, чувствующая другого любовь позволяет ему спасти Версирова в момент, когда тот, в состоянии одержимости, мучимый «двойником», пытается убить сначала Катерину Николаевну, а затем и себя.

Путь к этой сыновней, понимающей и прощающей, спасающей отца любви составляет один из главных духовных сюжетов романа. Суд, с которого начинает подросток, чающий в глубине сердца полноты единства с отцом, ни к какому единству привести не способен, ибо по самой своей сути построен на объективирующем, овнешняющем другого подходе, тем самым окончательно *разделяя* и судящего, и судимого, не оставляя им шансов выйти к взаимному прощению, примирению и единству в любви. Но постепенно по ходу романа

совершается переход от *обвинения* к *пониманию*, от высокомерного, право имеющего суда — к слышанию и состраданию. Сначала в самоуверенный, заранее знающий, кто во всем виновен, рассказ об отце вдруг вторгаются сочувственные, горькие нотки, когда Аркадий, в детских воспоминаниях которого отец был молод, прекрасен и предстал «в каком-то сиянии», приехав в Петербург, замечает, как постарел и истерся Версиллов «только в девять каких-нибудь лет»: «Мне тотчас стало грустно, жалко, стыдно» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 17]. Судящий, *неродственный* глаз сменяется иным — *родственным*, сочувственным зрением. И так постепенно меняется вся перспектива вещей.

То же любящее, родственное, сердечное зрение вторгается в воспоминание подростка о матери, создавая как бы второй ракурс видения сцены в пансионе Тушара. Первый — из поработившей тогда Аркадия *лакейской* картины мира, где неуместно явившаяся в престижный пансион простолюдинка «позорит» сына-бастарда, и так испытывающего насмешки товарищей. Второй — «Искоса только я оглядывал ее темненькое старенькое платьице, довольно грубые, почти рабочие руки, совсем уж грубые ее башмаки и сильно похудевшее лицо; морщинки уже прорезывались у нее на лбу <...>» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 271] — из той подлинной картины вещей, которая явится мальчику через полгода, когда найдет он под праздник Покрова Богородицы отданный матерью синий платочек и, прижимая его к лицу, начнет целовать, шепча: «Мама, мама <...> Покажись ты мне хоть разочек теперь, приснишь ты мне хоть во сне только, чтоб только я сказал тебе, как люблю тебя, только чтоб обнять мне тебя и поцеловать твои синенькие глазки, сказать тебе, что я совсем тебя уж теперь не стыжусь, и что я тебя и тогда любил, и что сердце мое ныло тогда, а я только сидел как лакей. <...> Мамочка, а помнишь голубочка в деревне?..» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 273–274].

Возвращение сердец сынов к отцам идет через взаимное узнавание, через опознание себя в отце и отца в себе. Позднее Н.Ф. Федоров, размышляя о том, как можно было бы художественно изобразить Первосвященническую молитву Спасителя, в которой открывается тайна Божественной жизни как тайна Отечески-Сыновней любви, предлагал представить ее в виде иконы-картины, на которой в сердце Христа, выходящего в Гефсиманский сад с учениками, запечатлен образ Бога-Отца, а наверху — в облаке, символизирующем вышний,



Божественный план, — представлена Троица новозаветная, так называемое «Отечество», где Бог-Сын сидит на коленях Бога-Отца, а над ними в виде голубя Святой Дух. В преддверии голгофских страданий Спасителя, во время, «когда весь мир восстал на Него», «мы видим <...>, что Он не один, что Отец — *Бог отцов* — всегда в Нем и Он весь в Отце. Эту-то *свою неотделимость от Бога* Он, отходящий из мира, и старается внушить остающимся, всем живущим, старается внушить *ради всех отшедших, чтобы все было едино, чтобы все ожило*» [Федоров, 1995–2000, т. 3, с. 197]. *Неотделимость* сына и отца друг от друга и демонстрирует развитие сюжетной линии «Аркадий — Версиров» в романе «Подросток». Через диалоги, через взаимные исповеди, через проникание в душу друг друга, когда Аркадий, демонстративно звавший отца «Версировым», обращается к нему «голубчик, славный мой папа», а Версиров «со странной дрожью в голосе» говорит: «Да неужто ты никогда меня не поцелуешь, задушевно, по-детски, как сын отца?» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 220], обретают герои полноту «родственного чувства», которое, по Федорову, ведет ко «всемирной любви» [Федоров, 1995–2000, т. 1, с. 46].

По ходу романа выясняется, что отец и сын родственны по своему душевно-духовному складу. Подросток внезапно опознает у себя те же мысли, те же побуждения, те же реакции, что у молодого Версирова. От князя Сокольского Аркадий узнает, что Версиров был так же способен горячо одушевиться идеей, как он сам в юности, и с такой же безапелляционностью, как ныне подросток, судил людей. Вот как рассказывает старый князь о его неофитстве: «Веришь ли, он тогда пристал ко всем нам, как лист: что дескать, едим, об чем мыслим? — то есть почти так. Пугал и очищал: “Если ты религиозен, то как же ты не идешь в монахи?” <...> Веришь ли, он держал себя так, как будто святой, и его мощи явятся. Он у нас отчета в поведении требовал <...>» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 31]. А Версиров после исповеди подростка легко опознает так тщательно таимую им идею: «<...> я и так знаю сущность твоей идеи; во всяком случае это: Я в пустыню удаляюсь... Татьяна Павловна! Моя мысль — что он хочет ... стать Ротшильдом, или вроде того, и удалиться в свое величие» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 90]. Эта точность *родственного* угадывания, когда в жизни, мысли, поступках близкого человека опознаешь самого себя, смотришь на них не извне, а изнутри, как бы из своей личности, проникаешь в другого, как в себя, снимая стреножащие границы, просветляя глубины души, которая для род-

ственно-любовного зрения перестает быть «потемками», — поражает подростка: «<...> но как он мог так верно определить мои чувства: порвать с ними и удалиться?! Он все предугадал и наперед хотел засалить своим цинизмом трагизм факта» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 90]. Самому подростку, еще полагающему в ротшильдской идее свое сокровище, пока не ясно, но читателю очевидно, что ирония Версилова — отнюдь не проявление цинизма, напротив — это воспитующая, целительная, спасительная ирония, проявление той самой отеческой любви и заботы, о которой так тосковал Аркадий в пансионе Тушара и о которой, несмотря на всю свою подростковую петушиность, продолжает отчаянно тосковать.

Версилов, уже прошедший те фазы искания идеала, которые теперь проходит подросток, стремится предупредить сына от соблазнов ложных идей. Делает он это совершенно не менторски, но в диалоге, перемежая идейные послания сыну шутками и каламбурами, избирая не форму проповеди, но форму исповеди. И так доносит до него главное: пошлость материократии, невозможность «добродетели без Христа» и то, что «служение идее вовсе не освобождает меня, как нравственно-разумное существо, от обязанности сделать в продолжение моей жизни хоть одного человека счастливым практически» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 173, 381]. А на вопросы Аркадия, пристававшего к нему часто с «религией», отвечает евангельски просто: «Надо веровать в Бога, мой милый» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 174], почти как Софья Долгорукая, говорящая сыну: «Христос, Аркаша, все простит: и хулу твою простит, и хуже твоего простит. Христос — отец, Христос не нуждается и сиять будет даже в самой глубокой тьме...» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 215].

У Версилова и подростка — одна атмосфера воспоминаний раннего детства, прошедшего в деревне, на лоне природы: источник образ рая, не дающий отречься от жизни, ниспасть в манфредовскую ненависть к бытию. Оба уходят в блуждания и заблуждения. Оба страдают, что «мысль не пошла в слова» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 103]. Оба говорят одними и теми же выражениями. Подросток изумляется: «<...> опять он повторил слово в слово мою мысль (о трех жизнях), которую я высказал давеча Крафту, главное моими же словами. Совпадение слов опять-таки случай, но все-таки как же знает он сущность моей природы: какой взгляд, какая угадка!» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 111]. Но то, что Аркадию кажется

случаем, есть проявление тайны родства, где наследственность не только физическа, но и духовна. Здесь — предпосылка той любовно-родственной *нераздельности*, к которой движутся отец и сын по ходу романа.

Еще в своем демонстративном, укоряющем монологе Аркадий восклицал патетически-гневно: «Ведь действительно, я настолько лакей, что никак не могу удовлетвориться только тем, что Версиров не отдал меня в сапожники; даже “права” не умилили меня, а подавай, дескать, мне всего Версирова, подавай мне отца...». А после последовавшего за тем разговора с Версировым горестно восклицает: «Неужели он не ломался, а и в самом деле не мог догадаться, что мне не дворянство версировское нужно было, что не рождения моего я не могу ему простить, а что мне самого Версирова всю жизнь надо было, всего человека, отца, и что эта мысль вошла уже в кровь мою? Неужели же такой тонкий человек настолько туп и груб? А если нет, то зачем же он меня бесит, зачем притворяется?» [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 100, 110]. Но если Версиров как раз понимает и лишь, подобно подростку, стыдливо прячет это понимание за иронически-изящными *mots*, так же тоскуя по сыновней любви, как Аркадий — по отеческой, то юный герой еще не осознает, что, пока не уйдет из его диалогов с отцом *подростковая*, высокомерно-обвиняющая интонация, он не поймет, что отца он *уже* обрел, а по большому счету никогда не терял и теперь сам, своей волей, отторгает его, стремится демонстративно уйти из дома и отрясти прах, не замечая, что, вынося приговор «блудному отцу», сам превращается в «блудного сына».

Впрочем, тема блудного сына в «Подростке» в равной степени относится и к Аркадию, и к Версирову. «Ибо сей человек “был мертв и ожил, пропадал и нашелся!”» — восклицает подросток, узнав о благородном отказе Версирова от наследства [Достоевский, 1972–1990, т. 13, с. 152]. Но чтобы на деле вернуться в дом Отца своего, обоим придется пройти путь длиною в роман, а может и в жизнь. Ибо притча о блудном сыне относится у Достоевского ко всему человечеству, забывшему об отцах и «Боге отцов». «И все мы неба блудные сыны» — напишет позднее философ-поэт А.К. Горский [Горский, 2018, с. 261].

Федоров полагал воплощением притчи о блудном сыне весь уклад жизни современного мира, видя в нем не только «небратское состояние», но и *несовершеннолетие* рода людского. Все челове-

чество ведет себя как *подросток*: обособляется и бунтует против Отца, находится в вечной претензии к Богу и миру, соблазняется ложными идеями, блуждает и заблуждается. Но несовершеннолетнее состояние по самому своему смыслу не может быть вечным. За *подростковостью* должна следовать *взрослость*. И достижение этой взрослости философ полагал в исполнении данной Христом заповеди о совершенстве, немислимой без исполнения заповеди о любви, без восстановления всечеловеческого родства, которое совсем не утопия. «Истинная нравственность не должна считать зло неистребимым, а благо недоступным» [Федоров, 1995–2000, т. 1, с. 298]. Роман «Подросток» и есть история мира, переходящего от несовершеннолетнего состояния к совершеннолетию, обретаемому через родство.

### Список литературы

1. Баршт, 1989 — *Баршт К.А.* «Научите меня любви...». К вопросу о Н.Ф. Федорове и Ф.М. Достоевском // Простор. 1989. № 7. С. 159–167.
2. Бахтин, 2002 — *Бахтин М.М.* Собр. соч.: в 7 т. М.: Русские словари; Языки славянской культуры, 2002. Т. 6. 799 с.
3. Бочаров, 2007 — *Бочаров С.Г.* «О бессмысленная вечность!». От «Недоноска» к «Идиоту» // *Бочаров С.Г.* Филологические сюжеты. М.: Языки славянских культур, 2007. С. 263–292.
4. Гачева, 2008 — *Гачева А.Г.* Ф.М. Достоевский и Н.Ф. Федоров: Встречи в русской культуре. М.: ИМЛИ РАН, 2008. 576 с.
5. Горский, 2018 — *Горский А.К.* Сочинения и письма: в 2 кн. М.: ИМЛИ РАН, 2018. Кн. 2. 1008 с.
6. Достоевский, 1972–1990 — *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.
7. Комарович, 2018 — *Комарович В.Л.* Отцеубийство и учение Н.Ф. Федорова о «теледном воскрешении» // *Комарович В.Л.* «Весь устремление»: Статьи и исследования о Ф.М. Достоевском / сост., отв. ред. и автор вступ. ст. О.А. Богданова. М.: ИМЛИ РАН, 2018. 927 с.
8. Сараскина, 2006 — *Сараскина Л.И.* Радикальная утопия о всеобщем воскрешении и реальность зла. Учение Н.Ф. Федорова в контексте убийства Ф.П. Карамазова // *Сараскина Л.И.* Достоевский в созвучиях и притяжениях (от Пушкина до Солженицына). М.: Русский путь, 2006. С. 320–341.
9. Семенова, 2016 — *Семенова С.Г.* Русская литература XIX–XX вв.: От поэтики к миропониманию. М.: Академический проект, 2016. 890 с.
10. Семенова, 2019 — *Семенова С.Г.* Философ будущего Николай Федоров. М.: Академический проект, 2019. 638 с.

11. Соловьев, 1911 — *Соловьев В.С.* Собр. соч.: в 10 т. / под ред. и с примеч. С.М. Соловьева и Э.Л. Радлова. СПб.: Книгоиздательское Товарищество «Просвещение», 1911. Т. 1. 389 с.

12. Топоров — *Топоров В.Н.* О «резонантном» пространстве литературы (несколько замечаний) // *Literary Tradition and Practice in Russian Culture. Papers from an International Conference on the Occasion of the Seventieth Birthday of Yury Mikhailovich Lotman.* Rodopi, 1993. Pp. 16–21.

13. Федоров, 1995–2000 — *Федоров Н.Ф.* Собр. соч.: в 4 т. М.: Прогресс-Традиция, 1995–2000.

## References

1. Barsht, K.A. “‘Nauchite menia ljubvi...’. K voprosu o N.F. Fedorove i F.M. Dostoevskom” [“‘Teach Me Love’. On the Question of Nikolay Fedorov and Fedor Dostoevsky”]. *Prostor*, no. 7, 1989, pp. 159–167. (In Russ.)

2. Bakhtin, M.M. *Sobranie sochinenii: v 7 tomakh* [Collected Works: in 7 vols], vol. 6. Moscow, Russkie slovari; Iazyki slavianskoi kul'tury Publ., 2002. 799 p. (In Russ.)

3. Bocharov, S.G. “‘O bessmyslennaia vechnost’!’. Ot ‘Nedonoska’ k ‘Idiotu’” [“‘Oh, Meaningless Eternity!’ From ‘Nedonosok’ to ‘Idiot’”]. *Filologicheskie siuzhety* [Philological Subjects], Moscow, Iazyki slavianskikh kul'tur Publ., 2007, pp. 263–292. (In Russ.)

4. Gacheva, A.G. *F.M. Dostoevskii i N.F. Fedorov: Vstrechi v russkoi kul'ture* [F.M. Dostoevsky and N.F. Fedorov: Meetings in Russian Culture]. Moscow, IWL RAS Publ., 2008. 576 p. (In Russ.)

5. Gorskii, A.K. *Sochineniia i pis'ma: v 2 knigakh* [Works and Letters: in 2 books], Book 2. Moscow, IWL RAS Publ., 2018. 1008 p. (In Russ.)

6. Dostoevskii, F.M. *Polnoe sobranie sochinenii: v 30 tomakh* [Complete Works: in 30 vols]. Leningrad, Nauka Publ., 1972–1990. (In Russ.)

7. Komarovich, V.L. “Ottseubiistvo i uchenie N.F. Fedorova o ‘telesnom voskreshenii’” [“Parricide and Nikolay Fedorov’s Teaching about the ‘Resurrection of the Body’”]. “Ves’ ustremlenie”: *Stat'i i issledovaniia o F.M. Dostoevskom* [“All Aspiration”: Articles and Research about Fyodor Dostoevsky], ed. by O.A. Bogdanova, Moscow, IWL RAS Publ., 2018. 927 p. (In Russ.)

8. Saraskina, L.I. “Radikal'naia utopiia o vseobshchem voskreshenii i real'nost' zla. Uchenie N.F. Fedorova v kontekste ubiistva F.P. Karamazova” [“A Radical Utopia about Universal Resurrection and the Reality of Evil. Nikolay Fedorov’s Teaching in the Context of the Murder of Fedor Pavlovich Karamazov”]. *Dostoevskii v sozvuchiiakh i pritiiazhieniakh (ot Pushkina do Solzhenitsyna)* [Dostoevsky in Consonances and Attractions (From Pushkin to Solzhenitsyn)], Moscow, Russkii put' Publ., 2006, pp. 320–341. (In Russ.)

9. Semenova, S.G. *Russkaia literatura XIX–XX vv.: Ot poetiki k miroponimaniu* [19<sup>th</sup>- and 20<sup>th</sup>-Century Russian Literature. From Poetics to an Understanding of the World]. Moscow, Akademicheskii proekt Publ., 2016. 890 p. (In Russ.)

10. Semenova, S.G. *Filosof budushchego Nikolai Fedorov* [Nikolay Fedorov, Philosopher of the Future]. Moscow, Akademicheskii proekt Publ., 2019. 638 p. (In Russ.)

11. Solov'ev, V.S. *Sobranie sochinenii: v 10 tomakh* [Collected Works: in 10 vols], vol. 1. St. Petersburg, Prosveshchenie Publ., 1911. 389 p. (In Russ.)

12. Toporov, V.N. "O 'rezonantnom' prostranstve literatury (neskol'ko zamechaniy)" ["About the 'Resonant' Space of Literature (A Few Remarks)"]. *Literary Tradition and Practice in Russian Culture. Papers from an International Conference on the Occasion of the Seventieth Birthday of Yury Mikhailovich Lotman*, Rodopi Publ., 1993, pp. 16–21. (In Russ.)

13. Fedorov, N.F. *Sobranie sochinenii: v 4 tomakh* [Collected Works: in 4 vols]. Moscow, Progress-Traditsiia, 1995–2000. (In Russ.)

Статья поступила в редакцию 29.08.2021

Одобрена после рецензирования 21.10.2021

Принята к публикации 25.10.2021

Дата публикации: 25.12.2021

The article was submitted 29 Aug. 2021

Approved after reviewing 21 Oct. 2021

Accepted for publication 25 Oct. 2021

Date of publication: 25 Dec. 2021